

НА ПОДВИГ

I

ЛИВНЫМ

В этот вечер банной жары в Шанхае / днем доходило до 100 по Фаренгейту / все казалось тепловатым и слизким. Вещи окутывались эманациями еврей субстанции, и запахи становились острыми и назойливыми. Раскрытые двери баров дышали на прохожих духом и плесенью. Я всеми силами старался унести в мысли в северные леса и холодную голубую реку.

О голубой реке я думал, с шелестом катящей меж замшелых, темнозеленых с блистерными брызг камней. Она - лесное зеркало, отражающее чинные ряды елей с бородатыми бородами и толпы легкомысленных березок в белых чулках.

Мне хотелось стоять по колено в прозрачной воде и ощущать, как стайки крошечных рыбешек нежно толкаются гупыми носиками об мои голые икры...

В телефонной трубке зазвучал раздраженный голос заведующего охраной главной конторы ЮНРРА:

- Кто у телефона? Старший ночной смены?

- Я.

- Двух ваших охранников отправляем на пристань. Вместо них посылаем вам одного, новенького, - и, точно предвидя возражения, сурово добавил:

- Ничего. Перебьетесь! - и повесил трубку.

Это означало, что спать этой ночью придется мало... Когда нас, охранников бывало трое, то один, который тогда именовался "орлиным оком", - охранял, пока другие предвзвешивали контрабандному ешу, но теперь...

- Снежного бурану бы сюда на пять минут, - был оддежуривший свою смену Снявкин, собираясь домой.

- Ангелы небесные, бурану!... - прогнал он, - ну, чего вам этот раз плюнуть!...

Потом, помолчав, егер обильно выступивший пот и указав на объемный чайник, выразительно подняв палец.

- Неумели за дежурство пять чайников вынуть?

Снявкин кивнул утвердительно, - как в египте - и уже совсем готовый к уходу, выгнул из египетки на улицу и озабоченно доложил:

- Что-то Грушенька долго не является.

Грушенькой он прозвал худенькую, невнятного роста китаичку-пролетку, озлобленную и драчливую, избравшую местом своей ночной охоты ближайший переулок. У нее было египетское лицо: под фонарем, в профиль оно давало подобие полумесяца, с выскочившим дымного небавзирающего со ежатыми губами на тротуар ночной улицы. Но дралась она, как зверь, главным образом - из-за неплатежа, ее вопли по ночам не раз заставляли нас вскакивать и гадать - Кого режут?

- Придет к ночи, когда совсем египетское, - ответил я.

- К ночи... Знаешь ли ты, что такое шанхайская ночь? - обернулся ко мне Снявкин, - это дивное одеяло, которым природа щедро старается прикрыть свой позор.

Он взглянул на меня победителем и ушел. В обнесенное каменной оградой пространство сборного пункта автомашины ЮНРРА, который мы охраняли, - возвращались закончившие дневные рейсы машины. Шоферы-китаичи ставили их на место, и уходя, посылали мне прощальные приветственные рукопожатия. Сборный пункт обходился све-

гом с прилегающих улицы представлял собой полугемный остров, где брезентовые арки автобусов напоминали фургоны Дальнего Запада в дни переселений и будили тоску по далеким дорогам... А вокруг с бесстыдной оскверненностью развешивалась примитивно грущобная жизнь цивилизованного/но не окульгуренного/города.

На просторности одного квартала два бара и один публичный дом. Вагровые светы вспыхивающего и гаснущего неона. Трогуар в переулке весь заслан рваными цинковками и газетками, на которых спят бездомные - сплошь полугемные, доедающиеся от испарин тела. Здесь, главным образом, орудует Грушенька. Она устранивает свое логово подальше в полугемном углу, около мусорного ящика... Где-то поблизости должен быть тайный игорный пригон...

В баре напротив - танцы до полуночи. Там беспрепятственно меняют цветное освещение и звучит какая-то жидкая музыка: слышен, главным образом, кларнет и барабан. В полночь бар закрывается, и мимо меня пройдут две женщины, всегдашние "приманки" бара - иногда с магроесами, иногда - одни. Они хитры, жалки, какие-то перекинь-вадородные и вылинявшие, и каждый раз, когда они проходят, я задаюсь вопросом - сколько лет они еще прогнут и чем покажется им вся прошедшая жизнь, когда - выражаясь привычными символами - они уедут в отдаленном конце больничного коридора ковляющую походку старухи-смерти - сухой стук когтистой пятки...

На балконе большого многоэтажного дома, точно в стеклянном, полном яркого света фанаре, - неподвижно, как идол, просиживает вечера индус с невероятно заросшим черной бородой лицом. На нем белая майка. Сознает ли он, как нелепо он выглядит - точно черный жук на снежно-белой наволочке?... Говорят, что это крупный роговщик, цепкий и безжалостный, и что до сих пор никому не удавалось ударить от него не заплакавши...

Мне надоело сидеть у ворот в ожидании новоназначенного. Я отправился на "уязвимое место" сборного пункта, так прозванное нами потому, что не раз по ночам темные фигуры с гасящими ключами в руках пытались там перелезть через низкую ограду, чтоб отвинтить запасные колеса у автобусов, вплотную придвинутых к этой ограде.

В один из этих автобусов я забрался и, хотя от брезента нестерпимо воняло пылью и маслом, - опять упорно старался уместиться в своей голубой реке...

Вдруг за оградой на опустевшей уже дорожке послышались шаги с двух сторон, раздались почти одновременно два восклицания, и оба проходящих остановились у самой ограды какраз в том месте, где я, отделившись от них лишь годичной стеной, устроил свой наблюдательный пункт. Я не мог видеть их самих, но отлично увидел их жесткокулирующие тени на выступе соседнего дома. Это были мужчина и женщина, и они разговаривали по-китайски, если можно назвать разговором этот трагический псушонот, в какой вскоре превратилась их речь. После первых обычных приветствий вроде - а! ты здесь! или - куда идешь? - разговор сразу принял характер большой задушевности. Мне трудно передать его деловито, но если заменить характерные китайские выражения соответствующими русскими, - он проходил, приблизительно, так:

- Но почему ты тогда ушел от нас? Ушел, когда меня не было дома, ничего не сказав - не попрощавшись?

- Я мужчина. Мне не подобает обижать женщину. Я сам должен зарабатывать

- Но, ведь, ты был болен! И ты заболел от жетошения, потому что день за днем нес по заглохенной земле Сяо-Яна, моего дорогого, моего единственного... - спазма обрезала голову женщины, через пару секунд она еще выдавила:

- И Сяо-Ян тебя так любил...

- Ну, вот - я и поправился и работу получил. Как здоровье Сяо-Яна?

Наслушав пауза, потом нестройный шныгающий звук, каким плачут дети и,

точно краткая эксплозия, восклицание:

- Умер! Умер свет моих очей!

А затем один другому вдогонку побежали слова, быстрее, как кувыркающиеся младенцы, и страстные, как поцелуй влюбленного, которому, лежа рядом с возлюбленной - приснился страшный сон, что он потерял ее навеки...

- И зачем я живу: умер мой единственный сын... Я была матерью в семье, у меня был дом и муж, пока его не убили японцы, а теперь... Знаешь ли ты, что я теперь?... Я проститутка для кули... И что меня ожидает - я уже теперь больна... Ты понимаешь - больна... Гнию! - тень женщины на белом выступе потрясала кулачками над головой. - И зачем ты не дал мне погибнуть, когда наснастигала вода от взорванных плотин? Зачем ты спасал это грязное тело, которое теперь никому не нужно - не нужно!...

Я ясно различил - она ринулась вперед и ударила мужчину. Тени на экране обединились в одно пузатое чудовище, у которого, точно щупальцы, в самых неожиданных местах возникали руки и ноги. Последние истереческие крики выдали женщину: я узнал ее голос - Грушенька... Но каков же мог быть этот герой затопленных земель, спаситель женщин, как в романе?...

Я не выдержал и полез с автобуса на ограду, чтоб лучше видеть, но в первый раз сорвался. Пока я вскарабкался опять - уже наступила полная перемена: Грушенька стояла, присмиревшая, застыдившаяся, и только тихо плакала. А мужчина /я так и не мог увидеть его лицо: он стоял ко мне спиной/ придерживал ее за вздрагивающие плечи одною рукою, тихо гладил ее по волосам и говорил странные слова:

- Ничего не потеряно.. Наоборот - многое выиграно; страданиями за старое платим... Теперь такое великое время пришло... Уже начали отгрыть счастливую жизнь для всех - и для тебя... Людм начинают понимать, что нельзя жить только для себя, для своей семьи... Как может человек, один, быть счастлив, когда другие кругом несчастливны? Не семья надо обогащать, а надо отгрыть одну большую семью на весь мир - ту Общину, которую заповедал нам великий Будда.

Он остановился и после краткой паузы продолжал:

- Помнишь - когда мы вышли из затопленной земли, я сказал тебе - иди на север к коммунистам и помогай им строить. Но ты рассчитывала на родственника в Шанхае - ты верила в семью и повернула на юг... Наверное - ты не нашла, кого искала... Или они оттолкнули тебя, как бедную... Может их унесло войною... Где та семья, которую несчастье не могло бы разрушить?... Но если весь мир сделается твоею семьею - кто ее разрушит? - Он совсем близко нагнулся к ее лицу, - я тебя буду лечить: у меня скоро будут деньги. Потом ты пойдешь на север - к коммунистам... Ты теперь несчастлива, говоришь - никому не нужна... Ты получишь новое счастье, если сумеешь полюбить других хоть чуточку так, как любила мужа, как любила Сяо-гяна... Где ты живешь? Где тебя можно найти? - он что-то зашуршал а затем протянул Грушеньке небольшой сверток, очевидно - какую-то оказавшуюся при нем еду... Грушенька категорически отказалась ее принять и даже как-будто покраснела... Они расстались, и тогда мужчина обернулся и встретился с моими в упор глядящими глазами - он не был китаец... Мы, молча, рассматривали друг друга. Тень от шляпы полумаской прикрывала часть молодого еще лица с парой очень спокойных серых глаз. Уотг он стоял недвижно, - он представлялся моему воображению идущим - идущим с котомкою за плечами, в какой-то островоконечной, вроде скуфьи, шапочкеи долгополой одежде, с посохом в руках... И бесконечная перед ним дорога, и бескрайни и пустыни поля вокруг.

- Не вы ли тут старшой охраны будете? - спросил он по-русски, пока я дивился его глазам: в них было выражение какого-то отсутствия, так, подалуй, выглядит человек, с высокой вершины всмотревшийся в сизую даль уводящих горных гряд: он уже и отвернулся, уже говорит с вами о мелких, посторонних предметах, но глаза его все еще продолжают смотреть через вещи - попрежнему видят даль.

- И не вы ли новоназначенный охранник будете? - спросил я, в свою очередь, указывая в сторону главных ворот. - Как вас зовут?

- Падуб, - и как-бы опасаясь непонимания, добавил, - дерево такое есть.

- Что вы тут говорили, - одобрю; я советский гражданин, - сказал я, соскакивая с ограды на тротуар, -но- причем тут Будда?

- Он тут все, - Падуб, как-то сразу оживившись, ответил, - без него никак нельзя... Потом...

-II-

Ночные часы не принесли прохлады - духота усилилась, звезды затонули пологом туч. Кусали москиты. В потемневших окнах затихших было домов то и дело снова вспыхивал свет. Почти голые люди выходили на балконы, подолгу курили, чтоб потом опять бросаться в пропавшие постели, на липкие простыни или циновки на полу в напрасной надежде заснуть. И когда им казалось, что они в самом деле начинают засыпать, - их кусали какие-то невидимые насекомые, которые могли быть только порождением самой тьмы, ее фабрикатом, и тогда опять начиналось почесывание, и сон пропадал...

Мы отодвинули выпитый чайник и смахнули с автобусной скамьи крошки братским с, еденного ночного обеда сторожей. И тогда я выслушал потрясший меня рассказ Падуба о зимней тайге, о пурге и о Великом Пути, на который нападают иногда совсем неожиданно. Лесные шум, шипение ветра по верхушкам маньчжурской тайги заменили для меня шелест голубой реки...

В этом повествовании, странно взволновавшем меня, шелуха слов Падуба временами совсем растворялась в собственном содержании: я как-бы переставал слышать и не мог бы повторить в точности слов, произнесенных их, но зато воспринял их сущность, я настолько жил ощущениями рассказчика, что наши личности как бы сливались в одну - я видел то, что он видел, и слышал то, что он...

Эта способность отождествлять себя с героем повествования проявлялась у меня с раннего детства. Когда я, маленьким мальчиком, прочел "Сказку о Царевиче и Сером Волке", - я настолько прочувствовал ее, что пережил ее опять в первую же ночь в сновидении - в роли Царевича.

Вот, поэтому при первых словах Падуба, описывающих его возвращение из какого-то маньчжурского городка в далекую избушку звероловов в тайге, - я ощутил себя как-бы шагающим рядом с рассказчиком, как бы видящим его глазами.

- Я уже четвертый день был в дороге - пешком: избушка была в чертовой глуши. Расчитывал попасть домой засветло, но запоздал: выпал первый снег этой осенью и, хоть и неглубокий - затруднял. Луна выкатилась...

Падуб приморк на секунду - равно столько, чтобы дать мне возможность "увидеть" внутренним зрением редкий лесок по склону какой-то сопки, немного дальше сменившийся давнишней лесной гарью - обгорелые черные стволы на фоне белого снега. Внизу - долина с запорошенной горной реченкой, а за ней следующий, невысокий хребет. На его каменистой спине, подбородком упершись в круг - красный, большой, как колесо, лик луны. Безмолвие. Не хрустнет хворостинка под снежным ковром - лишь следами на снегу, как лесными письменами, - засвидетельствуют обитатели тайги свои передвижения. Тоскливо идти ночью лесной гарью, когда со всех сторон скелеты деревьев тычут в вас мертвыми пальцами.

Падуб продолжал:

- Бреду я, усталый, и почему-то все о братишке Ванюхе, который остался в избушке ждать моего возвращения, - думаю. Парню пятнадцать лет - ему бы учиться да учиться, а он со мною уже третий год по звероловской части... Птицу пулей налету бьет, а сам только-что грамотен... Я-то еще, пока отец был жив / мать давно умерла /, успел на железнодорожного техника кончить, да какой толк? На службу по специальности не попадешь - мы, ведь, белоэмигрантами были,

папаша во время революции меня мальчишкой в Уарбин привез... Нас только китайские генералы, вечно друг с другом воюющие, в свои войсковые части охотно принимали, да японцы подкармливали, чтоб потом против своих же бросить... В Уарбине эмигранты-инженеры билетерами на автобусах ездили... Я не виню отца, что предпочел бежать в Китай. Он по своему любил родину, но не мог понять происходящего. А многие ли понимали? Мало ли было таких, что только случай, стечение обстоятельств определяло их принадлежность к красным или белым?... Надо было иметь большое прозрение, чтоб из-за деревьев лес усмотреть... Так вот - выросли мы с братишкой в эмиграции. О советской молодежи нам только и говорили, что все они там - чубаровцы?... Девушей в переулках подкармливают и по очереди насилюют... Мы слушали и верили и не верили - кто как... Отец на линии К.В.Ж.Д. поселился, и я - чуть подрос - стал с ним на охоту ходить, а как помер отец - совсем в тайгу переселился. Не плохим звероловом стал. Ванюша сперва больше по домашнему хозяйству орудовал, а потом и к охоте приспособился. И был он для меня все, что осталось дорогого на свете...

Так вот - иду домой и радуюсь, что Ванюшке подарок несущее ручные часы. Перешел я падь, стал на другой хребет забираться / а за ним в верстах двух и избушка /, как вижу - след на снегу мою дорогу пересекает. И след воробьей: как-будто и один только человек прошел, но отпечатки растоптаны, где побольше, где поменьше - хунхузская походка. Они - гуськом - задний ставит ступню в отпечаток переднего. - Все ли ладно дома?... Ну, не! - думаю, - Братишку моего, моего добра не станут трогать: лесной охотник - с зубами... Даром не спустить... И раньше, ведь, хунхузы заходили: посидят, покушают с нами вместе, как друзья, и уйдут... А то и своим угостят...

Утешаю себя этими мыслями, а сам уже почти бегу, чтоб скорее добраться... Потом обливаюсь. Выбегаю на полянку перед избушкой - пошто собаки молчат?... Не бросаются навстречу?... Пошто нет свету в окошке - не дымит труба? - Падуб, переживая давнишнее волнение, тяжело задыхался.

И опять его слова исчезли для моего слуха и растворились в картины. Я видел залитую красной луной лесную тропалину и избушку-полуземлянку с одним единственным окошком на уровне земли, кусок стекла отсвечивал слабым блеском - зияла настежь открытая дверь...

Грозная стояла тишина над полянкой, она - точно темный великан, притаившийся в тени черных елей, - стояла с уже раскрытым ртом - вот, вот - готова закричать.

Испустив какой-то звук, Падуб ринулся в раскрытую дверь и сразу же споткнулся о тело мертвой собаки у самого порога. И вторая собака была тут же... Ее очерившиеся клыки белели в лунном луче рядом со страшно спокойным лицом своего хозяина, Ванюши...

И до боли ярко припомнилось Падубу, как Ванюша резвился с этими самими собаками на зеленой лужайке в солнечный день - они кружатся, скачут вокруг него с лаем, с высунутыми языками - кувьркаются... А на лужайке так много желтых цветов...

Но это был только краткий миг, а затем Падуб ощутил, что всю его сущность наполнила холодная спираль, она заползла как-то снизу вверх, и он весь болезненно напрягся - аж заскрипел зубами, и после этого он онемел для всего внешнего мира, кроме своей боли, которая теперь стала огромной движущей силой и требовала действий, действий... И ему казалось, что сердце не выдержит, разорвется, если он не будет действовать. И он приступил к действиям методично и точно. При лунном свете он обследовал все кругом и сравнил разные отпечатки ног - убийца было одиннадцать человек. Конечно - это шайка Дао-коу-и, которая и раньше заходила, но на этот раз не устояла перед искушением легкой добычи...

Падуб вытащил из-под половицы парусиновый сверток с запасной винтовкой:

в нем давно выработалась привычка прятать оружие подальше от завистливых глаз и болтливого языка. Положил в котомку, какую мог собрать провизию, заставил себя пролежать в полусне самую темную часть ночи, а недолго до рассвета встал и поджег избушку, предварительно натаскав туда, каких мог, дров. На них он поместил тело брата и собак... Стоя около пожара, вспомнил школьные уроки истории и скифские погребальные костры, припомнилась и картинка в учебнике - княжеские похороны Семирадского... Этим сжиганием он не только хоронил брата, но как-бы ставил подпись под приговором одиннадцати убийцам; он допускал, что один из этих одиннадцати мог оказаться искуснее его - пусть тогда останется за ним чистое место: все равно, хоронить его некому будет... А когда рассвету прибавилось столько, что уже можно было различать след на снегу - он зашагал по этому следу и ни разу не оглянулся.

Только около полудня наступившего дня в тайге прозвучал первый выстрел. Упал на снег, чтоб никогда уже не подняться, часовой, выставленный шайкой Дао-коу-и, устроившей привал на заросшем кедровником склоне. Всполошенная шайка выслала разведчиков, которые возвратились поздно, не обнаружив никаких следов стрелявшего. Самый бывалый из посланных разведчиков, Фэн-дэ, не возвращался чрезвычайно долго. Его ждали молча и напряженно. Все было тихо в лесу. Хунхузы, прикурнувшие под деревьями, курили, когда какое-то подобие отдаленного вздоха пронеслось по воздуху. Тогда Дао-коу-и вынул изо рта трубку с медной головкой, сплюнул на снег и сказал:

- Это был выстрел. Фэн-дэ никогда не вернется. По нашему следу идет Да-пицца и мстит.

- Теперь только опыт старого человека может спасти нас. Двинемся в Кабанью падь. По пути два человека спрыгнут с нашего следа и по камням, не оставляя отпечатков, проберутся на склоны и залегут в засаду. Когда Да-пицца, как собака на следу, погвигнет, - они его пристрелят.

В то же время, пока он говорил, - Падуб, далеко по ту сторону края - осматривал приклад своей винтовки: на нем было одиннадцать черточек, надрезанных ножом, на двух из них Падуб провел поперечные черты - получилось два креста.

Так началась в лесу большая охота Падуба. В ловушку Дао-коу-и он не попал по той простой причине, что учился правилам охоты у того же учителя, что и Дао-коу-и - у маньчжурского тигра, про которого охотники так и говорят:

- Ты занимайся охотиться, а он - за тобой.

С удивительной прозорливостью Падуб отгадал следующее движение старого Дао, когда тот после ночи, проведенной в напряженном ожидании нападения, повернул назад, стараясь очутиться в тылу ничего неподозревающего врага. Люди Дао-коу-и рассыпались широкой цепью, часто теряя друг друга из виду, и обследовали каждый отпечаток, попадавшийся на пути. Опять к полудню в правом фланге, двигавшемся по редкому лесочку, прозвучал только один выстрел, и крайний правый в цепи, бросив винтовку, обеими ладонями обхватил перебитое бедро, стараясь всеми силами остановить пробивающуюся меж пальцев кровь.

Цепь залегла. Сбоку, откуда донесся выстрел, - ткнулось узкое болото, почти без растительности, нечего было и думать о прямом движении туда: залегший стрелок перебил бы их, как рябчиков. Надо было отходить и обходить... Дао-коу-и подполз к раненому, который за это время успел откатиться назад, в кустарник. Раненый был сильный, богатырского сложения человек с очень темным лицом, на котором глаза горели странным блеском. Динамическая энергия жизни, которой в нем был целый склад, - напрягла вольтаж до высочайших точек именно, в глазах: они сверлили и стали почти круглыми. Он сильно заволновался под бесстрастным взглядом Дао-коу-и, пока тот осматривал рану. Страстные слова

× Да-пицца - Большой Нос, прозвище, которым китайцы часто награждают европейцев,

посыпались из уст раненного - слова, как испуганные тени, пробегающие ночью по берегу озера отчаяния и мрака с воздетыми к небу руками...

- Я выживу... Нога сростет... Пусть кто-нибудь возьмет меня на спину!... Огня-мне холодно!...

- Тебя... на спину... - медленно протянул Дао-коу-и, окидывая взглядом богатырскую фигуру своего подчиненного, и медленно полез в деревянную кобуру за маузером.

- Не надо! - судорожно заметался раненный по снегу, правильно истолковав движение Дао-коу-и, - не надо! Оставь меня! Уходи, старый чорт!...

- Дурак! - сказал Дао-коу-и, - разве не хуже часами ждать смерти?... Хотя... - он задумчиво прибавил, - мороз убивает ласково.

Он всунул маузер обратно и стал торопливо отползать.

- III -

Тишина окружала раненного. Редкий лесок на белом снегу с кое-где торчащими выступами каменистых пород сходил на нет по склонам крутого горного края на западе.

По мере того, как солнце все ниже опускалось за край, - тень скользила все ближе к раненному и, наконец, покрыла его. Ему сразу стало еще холодней, и в мозгу засверлила мысль, что этого солнца он никогда больше не увидит. Завтра оно взойдет большое, сияющее, и все живущее потянется к нему навстречу. И старне товарищи, выкурив утренние трубки, выколотят их, сплюнут и скажут:

- Эй! Хорошее солнце! Хороший день!

А что будет с ним в это время?... Эй! Нехорошо поступил с ним старый Дао-коу-и! Можно бы его взять с собой - соорудить носилки... И почему он совершенно не чувствует своих конечностей?... Попробовать пошевелиться что-ли? Не стоит. Как будто стало значительно теплей... Но кто там идет по снегу - прямо сюда?... А - это Да-пицца - тот, который его ранил... Нет - убил... - он поправил самого себя.

Странно - он не чувствовал к нему никакой вражды.

Падуб остановился перед раненым и, молча, смотрел на него с полминуты.

- Что жь, товарищи тебя бросили?

- Бросили. Тяжелый я.

- Может быть, тебе чего-нибудь надо? Если тяжело - пристрелить можно.

А может - закурить хочешь?

- Нет, руки уже не действуют. Я скоро умру.

- Так тебе ничего не надо?

- Нет, ничего.

Они помолчали оба. Потом Падуб заговорил опять:

- Может быть, ты мне скажешь, куда остальные хотели идти. Где у них пристанище? Сам знаешь - мне за брата расплатиться надо.

- Ну как же! Непременно надо... А Дао-коу-и нехорошо со мной поступил... - раненный с трудом ворочал языком и весь как-то напрягся:

- Брошенный прииск знаешь... У Враньей сопки?... Три пади и одна котловина...

- Там всего-то одна фанза?

Раненный мотнул головой утвердительно.

- Ну, я пошел, - и Падуб повернулся лицом к западу.

- Иди.

Раненный короткое время видел его удаляющуюся спину, но потом ему вдруг стало казаться, что воздух наполняется черными, как сажа, пятнами, и свет меркнет, меркнет...

Ночь Падуб провел в избушке звероловов, покинутой обитателями, на которую набрел под самый вечер. Это была удача: ему надо было хоть одну ночь поспать более или менее по-человечески. А на утро он опять шел на соприкосновение с шайкой. Но тут его ожидал сюрприз: шайка перестала существовать, как единое целое. С места ее ночлега шли следы в разных направлениях. Тут не могло быть и речи о какой-то цепи, члены которой поддерживали между собой связь. Нет - люди разошлись веером, и где этот веер должен был складываться, - оставалось угадать.

Расчет шайки был правильный: разойдись, и где-то далеко назначив место встречи, - кто-то один из них, кому судьба назначила, навлечет на себя преследователя и - или его убьет, или сам будет убит, а в это время другие уйдут. Погода была неустойчива: можно было ожидать снегопада - тем лучше: следы будут заметны - преследование прекратится...

Падуб хмуро признал мудрость руководителя своих врагов: это был маневр, который оборвал бы его охоту, если бы вчера умирающий не дал ценного сведения.

- Брошенный прииск - вот, где они, наверно, встретятся... Так надо их опередить! - сказал себе Падуб.

Это был утомительный переход. Тот из шайки, кто избрал прямую, кратчайшую дорогу к приisku, конечно, знал ее лучше, чем Падуб, так как действовал в окрестностях своего дома. Чтобы опередить такого, надо было двигаться и ночью.

После суетного перехода, измученный до нельзя,двигающийся, как автомат, Падуб достиг одинокой фанзы на брошенном прииске. Там не было ни одной живой души, если не считать подложки бурундуков, которые, испустив писк, - исчезли где-то в углу. Просо, просывавшееся из разгрызанных ими мешков, указало дорогу на угол, где стояли корчаки с маслом и ханшином и всякая снедь. И тогда внезапная идея осенила Падуба - он спешно приступил к уничтожению провизии. Отбрав, что нужно было ему самому, он развел в очаге огонь, сыпал туда припасы, поливая их маслом и ханшином, который горел, как спирт.

Фанза задней стеною опиралась на круто спускающую сопку, а перед ней в паре сотен шагов тянулся приисковый "разрез" с кучами промытого песка и горных пород. Разрез с его углублениями и ямами, частью засыпанными снегом, представлял идеальное место для засады, откуда можно было держать под обстрелом единственную дверь фанзы, выходящую на "разрез", а также весь склон сопки, откуда могли спускаться люди. Кроме того, ямы и кучи давали защиту от холодного ветра. Сюда Падуб перетасил все, что ему могло бы понадобиться, если бы засада вопреки плану затянулась, он обмудовал что-то вроде окопа, положил винтовку на насыпи и присел в ожидании.

В безветренном воздухе закружились падающие снежинки: ожидаемый снегопад начался. Было тепло, как всегда, когда идет снег. Во всем теле ощущалась тяжесть сонной сытости. - Слишком много ел! - упрекнул себя Падуб, припоминая, как он набросился на запасы шайки утром. Страшная усталость свинцом висела в конечностях. - Хорошо, что идет снег, - думал он, - не будет видно моих следов.

На фоне заснеженной сопки серо-бурое строение фанзы, казалось нелепым и оскорбительным по отношению к окружающей белизне. Кроме того, если продолжительно в нее всматриваться - фанза то как-будто увеличивалась в размере, то уменьшалась. - Так очень легко заснуть, - думал он, теряя нить мысли. И он заснул в самом деле, сидя, сохранив напряженное выражение лица сурового часового. А с сопки в это время спускался Дао-коу-и со всеми своими подчиненными: осторожный старик назначил сборным пунктом не самый прииск, а падь

в двух часах ходьбы от него.

Люди усталую походкою спустились с кручи и стали заходить в фанзу. Но первые же вошедшие увидели следы хозяйничания чужой руки и подняли крик. Они бросились обратно к выходу и перед дверьми снаружи образовалась громко галдящая группа. Их голоса разбудили Падуба. Он совершенно не отдавал себе отчета, что заснул: ему казалось, что он закрыл глаза только на одну короткую секундочку перед этим. - И откуда тут люди взялись - сразу?

Потом, только наполовину пришедши в себя, он начал автоматически срезать, почти не целясь. Выстрелами всех галдящих смело в фанзу, и дверь захлопнулась. И только тогда Падуб сообразил, что вместо того бога, который он собирался дать на спуске с сопки, и который он безнадежно прозевал, - он стоит перед лицом длительной осады, обрекающей тех, в фанзе, на смерть от голода и холода, если только они не решатся на мужественную вылазку...

Но сколько времени, сколько бессонных ночей в холоде и в непогоде придется ему провести в ожидании этой вылазки?... Может быть уйти? Может - довольно уже?

Но когда он так думал, - внутри его что-то расширилось, точно зашевелилась и ожила в нем та холодная спираль, что заползла в него там - у тела брата. И стала она на мгновение тем, чем была в самом деле - древним плоско-головым змием, он поднял голову с немигающими глазами и, роняя ядовитую слюну, - прошипел формулу, такую же древнюю, как он сам:

- Око за око, зуб за зуб.

И исходил от него дурман, туманящий рассудок...

А мог ли Падуб, в самом деле, уйти? Последующие несколько секунд сназвали ему - "нет". В фанзе треснул выстрел, и пуля пролетела так близко от его неосторожно высунувшейся головы, что Падуб от неожиданности ткнулся лицом в песок окопа... Игра, затаившаяся уже так далеко, что остановить ее теперь уже было невозможно. Обруч необходимости приковал одного к другим и преследователя и преследуемых. Днем и ночью они будут следить друг за другом, и белый снег предательски выдаст каждую попытку покинуть свое место.

Так началась осада Падуба, длительная и кошмарная по своему напряжению. Ночь прошла, наступил день, и опять - ночь, а фанза не подавала признаков жизни, кроме дымка над трубой: обитатели, наверное, что-то готовили из запасов, которые могли у кого-либо уцелеть с похода, а то - просто, согрелись. Они могли жечь деревянные части самой фанзы. А холод, действительно, терзал... Рискнув ослаблением слежки, Падуб стрыл в яме логово из камней и хворста, разводил костер из скудных материалов под рукой и мерз... Спасаясь предательской сонливости сытого человека, ел понемногу, но часто. Но ничего не могло быть ужаснее недостатка сна. На третью ночь он спал, сидя с открытыми глазами, пока не был разбужен настоящим залпом из фанзы - шайка решилась на вылазку, и начала ее по правилам настоящего наступления! - с подготовкой. После первого залпа четверо стрелков из фанзы били непрерывно по месторасположению Падуба, пока остальные четверо распахнули дверь и ринулись вперед.

Падуб выпустил в них все свои пять зарядов в магазине - в последнего, недобежавшего до окопа всего только несколько шагов - почти в упор. И хотя он действовал безо всякого участия мысли, как заведенный для одного определенного действия автомат, - все же подумал:

- Даю-коу-и дурак - почему он не послал на вылазку одним больше: у меня бы не хватало времени на перезарядку.

Как и прежде, утреннее солнце осветило и молчаливую фанзу, и горы, и всю радостно заискивающую котловину с голубыми тенями по ней, и только присутствие четырех застывших фигур на снегу скорбных, с нелепо разметавши-

мися руками и скрюченных - ищало о нарушении человеком гармонии природы.

Падуб подолгу, насколько холод позволял ему оставаться недвижимым, - созерцал фанзу, сделавшуюся для него фокусом всей его воли. Казалось - кроме нее и нет ничего больше в этом свете... Не клочущая ярость, а застывшая лава ненависти... И весь он был наполнен спиралью змея, который, покачивая свою плоскую голову, изрекал всевозможнейшие оправдания мести, доказывал и убеждал...

Но временами Падуб все же впадал в забытие и, отирнув глаза, испуганно спрашивал - сколько времени прошло? Час? Сутки? Или неделя?

И потерял счет дней... Для него существовали лишь две вещи: холод и немалая необходимость покончить с теми - в фанзе. И раз, когда опять после невольного забытия он открыл глаза, и когда ему казалось, что промелькнули бессчетные дни, - он решил пойти в фанзу. Это не была потеря терпения, но внезапная, откуда-то явившаяся уверенность, что голод и холод уже завершили свое дело.

Он встал во весь рост и прямо двинулся к фанзе - выстрела не последовало. Дверь открылась легко, и он очутился внутри - там все спали. Если бы не бурундуки, с писком соскочившие с них, если бы не изгрызенные подбородки, щеки, оглобленные места черепа, - можно бы подумать, что они только спят. Сколо Дао-кю-и валялась его трубка с медной головкой...

Падуб, молча, стоял перед трупами, и всяк бы подумал, что он внимательно их разглядывает. В действительности, он перестал их видеть и, точно путник, нагнувшийся над краем дымящейся бездны, - глядел в пучину собственной души...

Может быть, он ждал радости?... Или гордого чувства завершения?...

Но вместо них из бездны сознания поднялась тошнотворная волна, и он зашатался от нее, точно от удара - до того отвратительным показалось ему дело рук своих!... И почудилось ему на миг, что все одиннадцать убитых собраны тут, и стоят вокруг, молчат... Фанза не велика, а народу-то много... Одиннадцать сильных мужчин, из которых, может быть, только один был повинен в смерти Ванюши. Вот, Дао-кю-и с обгрызанным черепом, вот смуглый богатырь с пербитым бедром, так спокойно признававший за Падубом право мести - оправдавший его... Вот, и другие, может быть - ветром несчастий и притеснений согнанные в тайгу - пленные грабители... И вдруг все они начинают друг с другом печальными глазами переглядываться, на Падуба кивать, точно жалеючи:

- Вот мол, смотрите - надо же ошибиться так человеку!...

И почувствовав что-то страшно неладное с собой, Падуб спешно вышел из фанзы. Ноги понесли его к далекому лесу, но он сам это едва замечал, хотя как-то полусознательно согласился, что куда-то идти, в конце концов, надо: оставаться незачем... Но главное - надо было думать - много думать о том, где тут правда - истина, почему ему так тяжело...

- И куда исчез Плоскоголовый? Он так логически убеждал меня в правоте моей мести, - спрашивал себя Падуб, - почему он не продолжает доказывать?

Но Плоскоголового не было: он упал обратно в свое таинственное логово и явно предавал Падуба... И последний припомнил, что не впервые таким бывает, как этот самый Плоскоголовый, будучи олицетворением безответственной животиности и эгоизма, - предавал его и прежде... Как он подзадоривал его в дни ранней юности добиваться от своей бывшей школьной подруги того, чего не должен был... И он добился... Наде, дочь стационарного стрелочника в поселке где вырос Падуб, - не была красавицей, но выросла на обильных хлебах тучно-полевой Маньчжурии и была полна огня жизни. У нее были довольно красивые серые глаза, и они с большой доверчивостью всегда останавливались на Падубе, который казался, так совсем недавно помогал ей решать задачи в школе... Опьяневшую ее взял Падуб на маевке... Не то что с полным умыслом, но и не без некоторой задней мысли он все подливал ей вина, да и сам был выпивец...

Вся подлая картина всплыла перед ним с мельчайшими подробностями. Жениться на ней ему совершенно не хотелось, да и обстоятельства были против... Угрозило, что Надя, после краткого романа и бурных слез, по общепринятому выражению, "нашла дурака" в новоприехавшем телеграфисте и вышла за него... А как перед тем ораторствовал Плоскоголовый! Тут были и "неумолимые требования природы", и "устаревший взгляд" на отношения полов", и даже "священные права тела"...

Да, да - всегда, ведь, он встречался как-бы с двумя правдами: одна - малая, формальная правда, другая - большая, ни в какой писаный закон не укладывающаяся. И применение этих правд зависело от высоты сознания человека: что позволительно низшему, - не позволительно высшему, "что приличествует быку, не приличествует Юпитеру".

Он убил одиннадцать человек за одного. Для кого-то это и красиво и мужественно. А кому-то приходит на ум, что удар возвращенный всегда сильнее удара, нанесенного обидчиком. И, если все начнут молить, - наступит самозничижение в бешенстве и ярости.

Падуб в думах своих не заметил, что по лесу проносятся как-бы стоны, отдаваясь то здесь то там. Это поскрипывали деревья под все нарастающим током холодного воздуха - приближалась пурга. И когда Падуб, наконец, приостановился и огляделся, - кругом все уже шипело, качалось, махало. Лес, казалось, сражался с воздушной ратью налетающих, сломая голову несущихся всадников - он точно кричал, отбивался и шумно переводил дух. Густо летели белые перья - закружились по полянам рассыпчатые хороводы...

Отуманенному от бессонных ночей Падубу стало казаться, что он уже веками идет по этому лесу, где все кругом бьется, что он сам только-что вырвался из одной схватки, чтобы пойти навстречу другой - что он дик, деревен, и руки его покрыты животной шерстью... Итти становилось все труднее. Он увязал в сугробы и стал терять желание и волю отсюда выбраться - падал и поднимался, пока не пришло ему в голову немножко полежать, собраться с силами, отдохнуть, и он почти мгновенно заснул. Но тогда к нему из-за деревьев подбежал вооруженный винтовкою человек, поднял и, поставив перед собой, заставил Падуба, сонного и сопротивляющегося - продолжать путь...

Командир отряда корейских партизан допрашивал обросшего бородой дикого вида русского, которого накануне подобрали в лесу часовые. Допрос был отложен до утра, потому что задержанный - что бы с ним ни делали - мгновенно засыпал.

- Кто вы? Куда и зачем вы вчера шли?

В заледеневшее окно фанзы, занятой штабом отряда, отливая по краям перламутром, - проникали яркие утренние лучи солнца. Чувствовалось, что на улице сильный, звонкий мороз, и Падубу жаль было покинутого теплого кана, откуда его подняли для допроса.

- Я - Падуб. Сам не знаю, куда шел - безумел без сна, от холода...

Людей пошел искать.

Командир как-то быстро, снизу вверх посмотрел на допрашиваемого, и Падуб понял, что начало не было удачным: он посеял подозрение.

- А что вы делали до этого? Каким образом оказались в лесу? И говорите мне правду! - В глазах его притаилась угроза.

- А на что мне врать? Осаду держал. Ууихузэв уничтожал.

- А-а! - протянул командир, - значит, вы русский эмигрант, белый - в японском отряде служите... Так, так - понимаю... Но где же остальные? Сколько вас было? - весь как-то спружинился командир, и Падуб услышал, как среди партизан за его спиной произошло краткое движение.

- Никакого отряда нет - был я один, просто сказал Падуб и в то же время физически ощутил волну усилившегося недоверия и подозрений: она защекотала в горле и холодной струей сползла по спинальному хребту. В комнате точно потемнело. Воспыхнула мысль, что допрос может привести к совсем неожиданному результату. - У партизан быстро... - Он не доложил мысли и принялся горлопивно излагать историю своего одиночного похода, чтоб скорей рассеять неприятное впечатление.

- Та-ак, та-ак, - растягивая слова, произнес командир в конце рассказа Падуба, - Вы, молодой человек предлагаете нам поверить, что Вы, один, уничтожили весь отряд Дао-коу-и - так и шли за старыми лесными волками и подстреливали то одного то другого - как рбчииков, а остаток заперли в фанзе... Гм... В опасности мозг работает быстро, - Вы теперь в опасности.

- Но вы можете проверить - послать людей... Я поведу их... - быстро перебил Падуб.

- Да я понимаю, что вам хочется снова попасть в тайгу: все же шанс! - с презрительным смехом проговорил командир, - но проверить правдивость вашего рассказа нам некогда: мы не можем отвлекаться от наших намеченных путей и задач без достаточно веских оснований. Ваше заирательство выдать месторасположение отряда достаточно ясно говори за то, на чей вы стороне, - тут он отдал приказание на корейском языке, и сразу два хиурых партизана, звякнув винтовками, - стали по бокам Падуба. Атмосфера в фанзе стала настолько напряженной для последнего, что он, как-бы не веря в действительность происходящего, - провел ладонью по лицу. Партизаны тихоенько подтолкнули его, указывая на выход.

- Может быть, - почти у самой двери уже доносся голос комотряда, - вы успели передумать и скажете нам правду, - где отряд, в котором вы служите, и что он собирается делать? Я вас тогда освобожу. Мы по всем русским отнесимся доброжелательно - даже к эмигрантам, если они явно не служат нашим врагам - японцам. Говорите!

- Никакого отряда нет. Может быть и есть где-нибудь отряд, но я о нем ничего не знаю.

Командир махнул рукой, и конвоиры с Падубом снова обернулись к выходу. Но на этот раз их остановил другой голос, почти шепот: он раздавался с другого конца кана, где на возвышении из подушек, скрестив ноги, сидел старик, не кореец, скорее - монгол. На отличном русском языке он позвал:

- Подойди ко мне, юноша! - и в то же время взглянул на командира, который тотчас же передал приказание конвоирам. Падуб ощутил перед личностью, как ему тогда показалось - ничем особенным не отличающуюся, кроме, пожалуй, необычайной простоты... И это был единственный человек, который смотрел на него с глубоким состраданьем...

- Я все слышал, молодой человек, что ты рассказывал о себе, - произнес он ласково и тихо с некоторым преобладанием горловых звуков, глубоко при этом заглядывая в глаза Падуба. - Так бывает, как ты говоришь, и народ иногда слагает песни о смелом воителе. Но скажи мне, ощутил ли ты радость и удовлетворение, и были ли они глубоки, когда ты стоял перед мертвыми телами подлых убийц твоего брата? - И потупил старик глаза в ожидании ответа и точно неживой стал.

- Нет, отец! - неожиданно для самого себя так назвал его Падуб, - не было ни радости ни гордости - тоска пришла!

- И если бы ты мог, - старик, точно оживленный ударом электрического тока, снова впери в него свои глаза, - если бы ты мог теперь возвратить жизнь тем, у кого ты ее взял - ты возвратил бы?

Падуб секунду заклебался, а затем прошептал:

- Возвратил бы.

- Отпустите этого человека! - неожиданно голос старика начал греметь и

звучать, как торжественное вещание. - Все, что он говорил - правда. Тот, кто дошел до горечи на дне чашки мести, тот, действительно, испил ее. И для кого сладость мести претворяется в горечь, - тот поднялся по ступеням человеческого восхождения и должен жить, потому что жить он уже будет не для себя, - голос странного старика опять снизился почти до шепота, когда он добавил:

- Оставьте его мне. Накормите. Пусть он выспится - он еще не отдохнул...

С неожиданной быстротой все переменялось для Падуба: насколько минутою перед тем все было враждебно к нему, - настолько каждый теперь старался доказать свое расположение - к нему протягивались сигареты, а кто-то заявил:

- Дао-коу-и не партизан, а разбойник - таких истреблять надо.

Падуба повели есть - он, в самом деле, был голоден... А после еды потянуло на сон - он опять лег на кам, успев заметить перед засыпанием, как старый человек собственноручно набросил на него подобный мехом халат. А когда он снова открыл глаза, - был уже вечер, и партизан в фанзе больше не было. На этом же месте, где и утром, перед коротким столом, какие ставятся на камы китайцами, - сидел старик. Небольшая керосиновая лампа на столе, прикрывая, вдобавок, абажуром, - освещала лишь малое пространство, оставляя нетронутым расплывчатые, длинные стены мрака, который, казалось, шевелился. Может быть этому виновный ветер: он проливал холодные струи, шел в щелях и где-то под тростниковой крышей.

- Опять - пурга - подумал Падуб, слыша, как онет, оловно сухой песок, ударялся в бумажные с одним единственным стеклом посредине окна фанзы. Ощущалась необычайная оторванность от гремящего где-то очень далеко - за горами за реками - мира: его как будто и не существовало...

Старик ласково улыбнулся Падубу и помянул его к себе, указывая на место за столиком. Падуб перебрался, сел и отпил из небольшого чайника, растеппрившись к нему придвинутого. Они оба продолжали молчать. Чай был крепок, горьковат и, повидимому, обладал свойством как-бы усилить мышление, приобщить четкость и ясность. Зашевелились непривычные и яркие мысли - захотелось что-то сказать, говорить...

- Отец, - начал он, - я вам и спасибо еще до сих пор не оказал за спасение моей жизни сегодня утром!

- Вашей? - улыбнулся старик, - ошибаетесь, друг: нет ни моей ни вашей жизни - жизнь одна, одна для всех - в дереве, в камне, в животном, в человеке... И эту жизнь никто не может ни спасти, ни отнять, ни дать другому, можно лишь уничтожить форму, в которой она проявляется, и можно создать благоприятные обстоятельства для образования новой формы, в которой жизнь тогда сама проявится. Не ты создатель цветка, семя которого посадил в своем саду, так же, как не отец создатель сына.

- А что же я сделал, как не отнял одиннадцати жизней? - глухо, заволнованный, спросил Падуб.

- Ты, просто, круто изменил направление одиннадцати потоков единой эссенции. Описав излучины, потоки вернутся к прежним руслам. Жизнь - в вечном движении вперед, ничто этого движения остановить не может.

- А что же тогда плохого в том, что я "круто изменил" направление одиннадцати потоков? Выходит, что не так уж плохо, а впрямь - хорошо, ведь, избавил мир от худых людей - прямая польза обществу, а вот - сердце другое говорит... - еще более заволновался Падуб.

Старик несколько секунд, молча, глядел на Падуба, и тень страдания, вернее - сострадания пронеслась по его спокойному лицу. А затем он заговорил опять - тихо не торопясь:

- Плохо не то, что ты убил, а то плохо, что незаконно убил, - и торопливо добавил, - не о человеческой, а о закониности природы говорю. Нельзя осудить убийство, как действие: оно существует в природе. Нельзя запретить волку убивать: это будет убийством волка. И прав матрос, пристреливший труса

пытавшегося удрать на спасательной шлюпке с гниющего корабля, оставив других погибать... Но ты осужден, потому что тобой руководили личные побуждения - жест. Судья действия - побуждение.

- Кем осужден? Судья - кто? - страстно нагнулся вперед Падуб.

- Твои действия и есть твои судья, ибо каждое действие создает причину, а причина влечет за собой следствие так же неизбежно, как смерть следует рождению. Какова причина, таков и следствие, посеявший страдание страдание и пожнет и, наоборот... торжественно произнес старик.

- Хорошо, - откинулся назад Падуб, - это как-будто и гено и логично, но... может быть, я не сумел правильно спросить... Дело в том, что я не вижу ни той силы ни того разума, через которых эта нитвь последствий созревает и преподносится заложившему причины.

- Ты сам и есть та сила и разум. Не забудь, - каждое действие двусторонне: оно влияет одновременно и на окружающий мир и на самого действующего.

Вот, ты совершил благодеяние для мира - от худых людей избавил, а себе принес страдание... И кто знает, куда оно тебя заведет?

- Стало быть, нет никакого бога, отдельного существующего от человека, а все в самом человеке - и суд, и наказание, и награда?...

В безмолвном "да" старик глубоко наклонил голову.

- Отец! что за странное учение ты учишь? что это?

- Это вера мужественных - тех, кто не боится ответственности за свои поступки - кто всю ответственность возлагает только на себя. Не слепая вера, что кто-то другой спасет тебя от последствий твоего самым заложившим причины, а мужество ответственности есть первое условие человечности в человеке.

В торжественно звучащем голосе старика вдруг стали прыгать суровые, почти гневные ноты.

- Чего ищешь ты? - внезапно спросил он, видя, что Падуб озирается как-бы в поисках чего-то, - ищешь ли стола, уставленного подношениями пред ликами буддийских или даосских святых или перед самим Готамой? Может быть, ты надеешься увидеть монашеские одежды и связку четок, отполированную бесчисленными прикосновениями праздных пальцев молитвенника? ... О!... оставь детям их игрушки! - и он засмеялся, и невероятная горечь кипела и переливалась в этом смехе, который внезапно оборвался, затем он заговорил снова, но полупрошопотом и страстно. Слова сдвигались с шипением ветра за окном, и казалось, что не человек произносит их, а само пространство:

- Сейчас не нужны и святые с их полумерами, неспособными переобразить гниющую жизнь, улучшить законный быт народа. Сейчас в самой гуще жизни, а не в монастырях, нужны смелые подвижники, чтобы сдвинуть с мертвой точки сознание народов. Настало время гербов стройки Нового Мира...

Страстность его слов мало по малу стала передаваться Падубу: в нем что-то заглохшее стало гореть, усилились токи взаимного понимания.

- Но кто ты сам отец? Я даже не знаю твоего имени! - вырвалось у Падуба.

- Что в имени? - отозвался старик, - назови меня ВОСТАВШИМ, если хочешь и будешь прав: я всю жизнь воставал против неправды и угнетений, а начал с ошибок, как и ты... А познания даже в ваших университетах искал... Но не время теперь об этом... Разве у тебя не было другого вопроса?

- Да, был... Я хотел спросить... Вот - ты говоришь о подвижниках, о подвиге, а где его взять - этот самый подвиг-то? Я вот, - с коротким смехом он продолжал, - не сказочных драконов побеждал, а белок в сезонную охоту подстреливал, чтоб с них шкурки сдирать да продавать себе на пропитание... Но чувю в глубине, что, действительно, мог бы я великим подвигом поконтить или заглушить - не знаю, которое слово лучше - то гнетущее ощущение, уиор, что родился у меня там, в фанзе, когда смотрел на изгрызанные бурундуками черепки своих врагов, но - где-же они, драконы-то?

- Окружен ими, и не видишь, - с глубокой тоской произнес старик, - Один дракон на Западе, другой - на Востоке. Первый похитил половину Европы, второй хочет проглотить всю Азию. Ты, может быть, и скажешь, что Германия и Япония не драконы, а страны, следующие избранной идее, и что они должны следовать ей, как каждый волен следовать тому, что он считает лучшим для себя... Ошибаешься, у них нет и не было НИКАКИХ идей. Звериность и желание все присвоить нельзя назвать идеями так же, как и человечность. Это - полюсы, два противоположные магнита, и оба они требуют идей, но только для того, чтоб выработать тактику - они могут прикрываться тысячами идей и названий, но сами от этого не изменятся. И разве звериность и желание все присвоить ты не встречаешь на каждом шагу жизни в той или в другой степени в людях, а главное - в самом себе? Так почему же ты спрашиваешь - где драконы?

VIII

Внезапный звон разбитого стекла, гулко рассыпавшегося, и залп криков заставили Падуба прервать рассказ. Мы оба соскочили с приютившего нас автобуса и бегом пустились к воротам. Оттуда донеслись чьи-то стоны и рад восклицаний на английском языке:

- Бей эту рвань!... Круши, ребята, пока не полиция... Д-дай ему ему!... - и восхищенный глас:

- Джой! Ты не что-нибудь такое, а настоящий ад на колесах!...

Я уже догадался, в чем дело, и остановил Падуба;

- Ничего. Все в порядке: матросы громят соседний бар.

- Как - "все в порядке"? - Он недоуменно уставился на меня, указывая при этом на окровавленного человека среди осколков стекла на тротуаре.

- А так - у них такая традиция: если содержатель бара, по их мнению, ставит слишком высокие цены на напитки, - они тогда в один миг разбивают все, что есть в баре - посуду, мебель, она и разбегаются до прихода полиции. При мне этот бар разбивают уже второй раз.

- Странная традиция, - протянул он и нагнулся на лежащим. Это был сам владелец бара. Оказалось - его сгребли и запустили им в застекленное окно, как камнем, в самом начале свалки. Он теперь начал шевелиться и помаленьку принял сидячее положение. - Сволочи... - шипел он, сплевывая каким-то комочком, - совсем ивовый костюм изорвали... Но, - прибавил он торжественно, - я успел откусить одному полуха...

Пока мы интересовались его состоянием, "дело справедливости" матросов уже было завершено, и "белые шапочки", как зовут американских матросов в Шанхае, - быстро удирали в соседние улицы, где они опять переходили на обычную развалюшную походку уважающих себя моряков, которые и слыхом не слыхали, что там какой-то бар разгромили...

Когда мы опять забрались обратно в автобус, - Падуба не мог сразу возобновить рассказа. Молчал и я: порвались тонкие нити, связывающие рассказчика со слушателем, актера со зрительным залом. Далекие башенные часы на Банде медленно пробили полночь. "Медленно и торжественно" - говорят в таких случаях, но в это бже не было торжественности, скорее - это был счет арбитра над задыхающимся боксером, получившим "нокаут". В каждом ударе чувствовалась железная неутомимость и предупреждение повториться с отдыхом, ибо завтра опять предстояла борьба - на обогащение, на выживание - борьба, где каждый борец так потрясавше одинок и стоит один против всех...

- Да над чем же было так случиться, - с досадой сказал я, наконец, - что они прервали нас в таком интересном месте! В как-раз излагали мысли вашего старца о подвиге.

- Да, - отозвался Падуба, - в общем, они сводились к тому, что подвиг может твориться в ежедневной жизни на обыкновенных делах обихода при условии, что подвижник совершает все свои деяния добровольно и с другими и мыслью об общем благе, вместо блага личного. Он постоянно проверяет импульсы своих действий и скорее откажется от благовидного внешнего действия, чем совершит

его с недостойным побуждением. В этом простом упражнении у него вырабатывается та самоотверженность, без которой нельзя стать ни герцем ни полководцем. Оба понятия родственны. Импульсу старец приписывал огромное значение: импульс - скрытое динамическое действие, если импульс свободен от эгоистических устремлений, - он придает действию страшную силу... Кроме того, он утверждал, что малое нег - самые малые действия могут оказаться великими по своим последствиям так же, как не мал насморк полководца, заставивший его проиграть сражение...

- Что же это за философия такая? - спросил я.

- Да это чистейший буддизм в его неискаженном виде. Старец был глубоким, настроенный буддист и, как таковой, был против всякой браминности, церемонности и аскетизма, но самое главное - он мне раскрыл глаза на основы коммунизма.

- Разве старец бы коммунист?

- Истинный буддист не может быть иным.

- Ну вот... - расстерянно произнес я - и скажет же иногда человек...

- А что вы знаете об истинном буддизме? - вдруг спросил Падуб, уставившись на меня.

Я забормотал что-то о буддийской Нирване, как о небытии, чем вызвал его смех.

- Вся беда в том, - заговорил он, - что люди любят говорить с видом знатока о том, чего не знают. Коммунизм является одной из первооснов буддизма. Ученники Готама-Будды должны были объединяться в общины-коммуны, потому что только общинная жизнь могла представить ученику то материальное обеспечение и моральную поддержку, без которых человеку приходится уделять слишком много сил и внимания житейским заботам - сил, которые должны бы изливаться в русло общего блага... "Современные коммунисты общины дают прекрасный мост от Будды-Готамы до Ленина", - могу вам показать эту фразу в книге, написанной высшим представителем буддийского мира. Далее там же сказано:

"Основывая свои общины, Будда стремился создать наилучшие условия для тех, кто твердо решил работать над расширением своего сознания для достижения высшего знания и затем послать их в жизнь учителями жизни и провозвестниками мировой общины". - Заметьте - конечной целью образования малых общин явилось создание одной великой и единой общины всего мира... И великие учителя человечества, - в голосе Падуба задрожали страстные ноты, - переключаются в веках и то, что один не успел завершить, - то он передает другому... Мечту Будды о мировой общине, об обновленном человечестве принес Ленин, может быть, сам того не зная, откуда она... Принес и превратил в камень основания социалистического государства.

- А к чему все это? - после некоторого молчания начал я, - что пользы последователям Ленина от того, что их идеи окажутся старше, чем они, может быть, предшлагали?

- Как - к чему? Здесь огромное практическое значение... Не в том суть, что идеи окажутся старше, а в другом - надо раскрыть глаза буддистов на то, что коммунизм есть, просто, одна из первооснов буддизма, и тогда может прийти великое объединение. - Нагнувшись к самому моему уху, прошептал Падуб рьяно отрывистые сплетенные слова:

- Уходит Старый мир... Все злее и отчаяннее становится его вожди и их приспешники - идут к концу... Они отступают и стягиваются в разных частях света... Но Азия решил судьбу мира - Азия с ее миллиардами и сокровищами... А Азия - это буддизм... Поэтому - чем скорее произойдет объединение, тем лучше для мира, для человечества... Поэтому - люди теперь нужны... Сказать народам Азии, что на Севере уже заложена община мира, что готова братская трапеза и каждый без различия цвета кожи и состояния призван на эту трапезу равных с равными... Сейчас нужно работать на объединение, на объединение, - почти шепотом шептал Падуб, почти шепотом шептал он и откинулся назад.

И тогда я понял, какого рода подвиг избрал себе этот человек, ужаснувшийся делу рук своих, стоя перед трупами.

- Так стало быть - это и есть то, на что ты идешь?... Так чего же к нам поступишь - время терять? - я и сам не заметил, как перешел на "ты".

- Обищал: одежда, обувь в негодность пришла. Вот, подработаю - пойду дальше... Кроме того - у меня советского паспорта не было - вот, хлопочу в консульстве.

- А старец ваш где? Что о нем?

- Ушел. Два месяца я с ним прожил, а он все меня наставлял, разговаривал... И крепко же я его полюбил. А потом я к тем же партизанам и пристал - Дракона Восточного побивать.

- Старец сам вас к ним направил?

- Да, именно - направил, а не приказал. Под его руководством я сам пришел к заключению, что иначе нельзя, и когда сказал ему, - он ответил, что решение мое правильное. Он всегда говорил, что ни благие деяния ни подвиг приказывать нельзя: они требуют совершенной свободной воли и выбора - подвиг должен вырасти в душе человека самостоятельно, как цветок накапливает силу, чтоб распуститься в урочный час. И еще он советовал не смущаться громадной поставленной перед собой цели, говоря, что размер цели создает и размер возможностей - всегда советовал выбирать самую высокую цель, как наиболее практическую... Когда я, к весне уже, вернулся в фанзу - старца там уже не было. Но велено было передать мне, что он еще встретится со мной. А потом - мы били, и нас били. Меня с особым поручением во внутренний Китай послали - там я и столкнулся с женщиной, с которой вы меня видели. Когда плотины по Желтой реке взрывались и все затопило кругом, - довелось мне помогать ей с сынишкой по топи этой самой пробираться... По пути, иногда по груди в воде шли... Урошая, отважная женщина, только вот... - как-то неохотно произнес Падуб последние слова и оборвал рассказ.

Через жарких, душных ночей затонулась. После бессонных бдений мы возвращались в духоту комнат, подогреваемых накаляющимися от солнца стенами. Какой-то "дырявый" сон постоянно прерывался стуками, гудениями и прочими глоссами полусумашедшего гиганта Дня, который кривлялся, размахивал руками и ревел над великаном городом болотной равнины, - мы почти не спали, терли аппетит и худели.

Но все же я хорошо перенес летние месяцы, благодаря Падубу: он заражал благодушием, оптимизмом и вдохновлял... Я давно заметил, что такого рода вдохновение целительно и в значительной мере помогает перенести чисто физические тяготы... Падуб делился своими планами на будущее: тут были посещения издравле известных центров буддийского учения Китая, Тибета, Индии. Он откровенно признался, что не надеется на большой успех от бесед с главами буддийских церквей, потому что уже имел некоторый опыт в этом направлении. Прелаты - везде остаются прелатами... Но такие места посещаются массами народа - там могут встретиться живые души, способные слиться в единое пламя Отца Востока и Отца Запада...

Недаром при первой встрече он представился моему воображению идущим с котомкою за плечами увядшею в бесконечную даль дорогой. А он любил говорить мне о другой дороге назвав ее Великим Путем... Ту дорогу не ногами ходить, а сердцем - в самой гуще жизни прилегла. Подвиги самозабвенной жизни творимая, бледным лучом далекого Идеала осененная - вьется по кручам дымных теснин...

Нет больше Падуба со мною - ушел. Уотя он прослужил у нас месяца три, - я иногда спрашиваю себя - в самом ли деле он был тут, сидел и делился в течение долгих ночей необычными мыслями своими - так неожиданно он ушел. Как он - то очарованный странник, чьи ошибки претворились в прыжок к свету... Но следы его пребывания остались; первый - исчезла навсегда из переулочка Грушенька. Когда еще Падуб был здесь, - я встретил ее на улице - из больницы выходила. Она вернулась от меня, будто не видит - прошла. Сама похорошевшая, чистенькая..

- Неужели стыдится? - подумал я и сказал о встрече Падубу.

- А я, - говорит он, - достал денег ей на лечение - на днях она на север уедет...

И тогда я подумал:

- Как же... Он так и должен быть: пути прѳвѳвестников, подвижников и блудниц непременно где-то скрещиваются. По таинственному закону один привлекает другое, как в разноименных магнитах... В той толпе, которую неминуемо должен пройти прѳвѳвестник с устремленными в даль очами, - тут и она, блудница, заласканная, захватанная сгибками рук - стѳит, и если мера ее блуда истощилась и близка она к иступлению, ярости, - она нутром почует прѳвѳвестника и будет хватать его, проходящего, за одежду...

Второй след - та тревога и беспѳкопство духа, которые он оставил во мне: я не тот, кем был раньше

Чем больше я раздумываю над значением встречи с Падубом в моей жизни, тем более я прихожу к заключению, что не только его слова произвели во мне это странное беспѳкопство, тревогу, как у Вѳка:

... " Меня позвал Кто-то

Ветер спел мне песню,

Я в страшной тревоге,

Как перед подвигом" ... - а еще что-то несказуемое, чему нет и описания и что лучше всего назвать каким-то внутренним огнем, прикоснувшись к которому значит и самому загореться... Загорелся, ведь, сам Падуб около своего старца, а теперь горю и я невидимым пламенем, которое сжигает мои мелкие житейские интересы - а я им раньше отдавал так много себя... Да, есть пламя какое-то, оно сжигает вчерашнего человека и готовит его для чудесного завтра, которое нужно встретить преобразенным.

Что-то изменилось, растет во мне. Говорят, что мои глаза часто принимают выражение человека, глядящего вдаль - через вещи. Рассеянный стал. Вот, вчера на дежурстве опять ушел мыслями от окружающих, а Синявкин мне что-то говорит. Я все ему головой киваю - да, мол, да... - а сам себе думаю.

- Ну, так ты, значит, согласен? - как-бы проснувшись, слышу, кричит обрадованный Синявкин у самого моего уха.

- В чем?... Что?... Что - согласен? - смущенно спрашиваю.

- Так как же... Ты же сейчас согласился со мной в компанию вступить - вместе новый бар открывать - там, вместо разгромленного. Главное теперь помещение, и хороших девчонок достать...

- Поди ты со своим баром - в ужасе отмахиваюсь от него.

И гляжу теперь я с тоской вокруг и спрашиваю себя:

- А мой подвиг?

Шанхай, 26-1-47 г.

А. Уейдѳк